

Пять эссе

[254]

ил 8/2018

Попытка антропологии

У нас “на раене”, как теперь принято говорить, то есть в Квинсе, с некоторых пор существует русский супермаркет, и, хотя он не в шаговой доступности, иногда я туда заглядываю: желудочная ностальгия — одна из самых сильных и устойчивых. Контингент покупателей там очень обширный, много поляков и других уроженцев центрально-европейских стран, попадают-ся и более коренные жители из любопытных, но преобладают, конечно, “русские” в широком смысле, то есть выходцы из бывшего СССР.

И вот довольно типичная картина у кассы: с иголки одетая женщина с полной тележкой товара расплачивается карточкой, но это не кредитная карта, а удостоверение так называемой Программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP), в здешнем русском просторечии “фудстемпы” — иными словами, дотация той части

населения, которой не хватает денег на пропитание. Увы, это не исключительные случаи — подобные сцены я нередко наблюдаю и в соседнем стандартном магазине, население у нас тут смешанное. Но здесь, если выразиться деликатно, внешний облик и образ действий обычно больше соответствуют друг другу: обладатель такой карты и одет попроще, и товар отбирает тщательнее, озираясь на цену, — нет того когнитивного диссонанса, который часто возникает в русском дворце продовольствия.

Известен краеугольный принцип любых социологических обобщений, который у многих с непривычки вызывает удивление и протест: прежде чем за такие обобщения приниматься, надо полностью отвлечься от собственных жизненных наблюдений, потому что каждый из нас занимает в жизни достаточно узкую позицию с ограниченным радиусом обзора, который почти наверняка не имеет существенного статистического значения. Но реальной статистики в области, которая меня интересует, попросту нет, правительство не имеет полномочий ее собирать, а частные ис-

следования нужного профиля мне неизвестны. Поэтому все дальнейшее — область догадок и плоды сорокалетних личных наблюдений, научная ценность которых может оказаться сомнительной. А поделить их ими я решил потому, что в последнее время все труднее без них обходиться: за неимением гербовой пишешь на простой.

Если вернуться к упомянутой женщине — не конкретному человеку, а персонажу воображаемой статистики, — из этих догадок можно выстроить приблизительный статистический образ. Она объясняется с кассиршей по-русски, потому что в этом магазине принято говорить по-русски. Она может перейти на английский с сильным акцентом, но тогда ее словарь резко сузится, потому что она живет уже годы в добровольном гетто, где в богатом английском словаре особой нужды нет. В остальных отношениях она вполне адаптирована: нужды особой не испытывает, а судя по объему закупок, на улице ее ждет машина — в известный всем сезон на машине может оказаться и георгиевская ленточка. Она очень неплохо ориентируется во всех положенных законному жителю страны и штата социальных льготах, этому наверняка ее сразу обучили бывалые родственники и знакомые — и даже, возможно, в неположенных, надо только правильно заполнить анкету. А если у нее уже есть гражданство, то она, наверное, всегда голосовала за республиканцев, ратующих за сокращение социальных выплат, потому что так

голосуют все окружающие. На прошлых президентских выборах она, иммигрантка, голосовала за Дональда Трампа, который добивается сокращения иммиграции.

Это, конечно, всего лишь приблизительный фоторобот, но в его соответствии собиравшему оригиналу меня сегодня убеждает целый ряд публикаций в американской прессе, обратившей, наконец, внимание на странности политической ориентации здешней российской диаспоры. Вопрос, почему эти люди ведут себя так, как они себя ведут, занимает меня давно, и не одного меня. Сегодня мне кажется, что ответ на него, возможно, не так уж сложен.

Когда я, в середине 70-х, впервые высадился в этом полушарии, расстановка сил в глазах вчерашних советских людей была очевидной. Традиционно большинство иммигрантов, в том числе значительная группа из тогдашней Российской империи, в основном украинцы, поляки и евреи, прибывали к лагерю демократов, которые, по крайней мере в северных штатах, приобрели себе репутацию защитников новоприбывших. Демократы были ведущей партией больших промышленных городов, нуждавшихся в рабочих руках, тогда как республиканцы, скорее, представляли предпринимателей. Но в наших глазах демократическая администрация Джимми Картера и его единомышленников была слишком привержена политике разрядки напряженности с Советским Союзом, которая убежденным противни-

кам Советской власти казалась наивной, а не слишком убежденные старались выглядеть достаточно убежденными — в конце концов, нас ведь пускали сюда сравнительно беспрепятственно именно за то, что мы пострадали от коммунизма. Республиканцы в то время были настроены куда более агрессивно в отношении коммунизма — и к тому же в постиндустриальном обществе мало кто шел в пролетарии, что размывало классовые интересы. Голосовать в этих условиях за республиканцев и обличать демократов как агентуру социализма казалось вполне естественным.

Почему, однако, эта матрица поведения уцелела в совершенно новых условиях, когда очаг поляризации исчез? В конце концов, поколение тогдашних антикоммунистов давно исчезло с политической арены — вместе со своими реальными и воображаемыми противниками, а большинство новых иммигрантов, как бы они ни маскировались, руководствовались в основном экономическими мотивами. И какие именно интересы российской иммиграции поддерживает сегодня республиканская партия? Здесь как раз и расположен эпицентр загадки: с какой стати упрямо придерживаться стратегии, потерявшей смысл?

Самое простое объяснение — социальная инерция. Российская иммиграция была на протяжении ряда лет относительно массовой, и новоприбывшие предпочитали селиться в уже освоенных местах — в мои времена таких городов бы-

ло два-три, но сейчас подобные колонии есть практически в каждом крупном городе. Человек без заранее обеспеченного места работы и не очень владеющий английским языком поселяется именно в таком месте, и ему моментально передается весь духовный багаж и опыт колонии. Голосовать только за республиканцев, все, кто левее, — коммунисты. Работать, если не очень квалифицированно, — только за наличные, так проще увернуться от налогов. Есть также специалисты, помогающие оформлять льготы, в том числе не обязательно положенные, — неважно, что это не очень стыкуется с неуплатой налогов. Государство существует за тем, чтобы брать от него все, что возможно, — неважно, что это совсем не стыкуется с концепцией минимального государства, которой до недавнего времени придерживалось большинство республиканцев.

Существует такое понятие “ресоциализация”, которое обычно применяют к освобожденным из мест заключения, подразумевая под этим приучение человека к функционированию в обществе и на работе, от чего он отвык за годы изоляции. Но оно применимо также и к адаптации иммигранта в незнакомой стране, обычаях и порядков которой он не знает, да и языком, как правило, владеет плохо. Добровольное гетто, в котором поселяются многие иммигранты, может сослужить им хорошую службу в области минимальной адаптации, но в деле реальной ресоциализации оно играет роль тормоза. А с неко-

торых пор дополнительным и еще более мощным тормозом стал телевизор со стандартным набором российских программ — главное окно в мир для такого иммигранта, плюс интернет с ассортиментом российских сайтов и социальные сети, которые не столько ставят под сомнение исходные политические аксиомы, сколько подкрепляют уже существующие.

Кроме того, у российской диаспоры в тех же гетто есть как бы специальная генетическая память, работающая на пользу консерватизма, — не столько идеологического, сколько бытового, но на практике трудноотличимого. Любые радикальные социальные перемены под ее влиянием воспринимаются как угроза, так оно всегда было в стране исхода, в том числе, и даже особенно, в эпоху перестройки. Отсюда — тяготение к идеологии, которая обещает “вернуть все как было”, даже если этого идеального прошлого на самом деле никогда не было: примерно тот же процесс, который в России пробудил ностальгию по брежневским временам. А любое упоминание прогресса автоматически ассоциируется с историческими несчастьями России и зачисляется в рубрику марксизма.

И еще один важный фактор: у российской иммиграции нет проблем, которые обеспечили бы ей смычку и солидарность с другими социальными, расовыми или иммигрантскими группами под какими то ни было лозунгами: все вроде белые и не мусульмане, никто не покидал родину в дырявой лодке и не протрубил несколько

лет в нищенских беженских лагерях. Демократической партии, которая в последние десятилетия в основном продвигала интересы именно таких групп, русским просто нечего предложить, и единственный контингент, с которым эта диаспора ощущает известную общность, — это оставленный за бортом политики “либерализма идентичности” электорат Дональда Трампа, который до последнего времени полагал себя забытым или намеренно игнорируемым.

Почему именно русские, насколько сильно они отличаются от других похожих диаспор — украинской, к примеру, или польской? Здесь меня начинает подводить кругозор и набор личных наблюдений, но можно сказать, что до недавнего времени серьезные отличия действительно существовали: польская и украинская иммиграция имеют в США долгую историю, они восходят еще к концу позапрошлого века, и преемственность у них совершенно иная, тогда как русские по-настоящему обозначили себя в этом полушарии лишь после Второй мировой войны. Впрочем, нерушимых заветов не бывает: похоже, что многие здешние украинцы в минувшую кампанию тоже встали на сторону Трампа.

Заблудившаяся Европа

Сегодня мы о ней вспоминаем редко, у всех своих проблем с лихвой. Но было время, когда эта часть Европы — Восточная или Центральная, смотря откуда взглянуть — занимала в

нашей внутренней географии куда больше места, чем сейчас. Она служила если не окном в полновесную Европу, то хотя бы форточкой, и для многих обрела самостоятельную ценность. По крайней мере для многих из тех, кого сегодня, возможно не без преувеличения, именуют четырнадцатью процентами.

Я уже вспоминал когда-то про советскую сеть книжных магазинов “Дружба”, где в разгар застоя продавались книги, о переводе которых на русский мы могли только мечтать и ради которых стоило выучить польский или чешский. В просвещенных домах листались номера журнала “Чешское фото”, иногда можно было, хотя и с трудом, подписаться на “Przekrój”, “Szpilki” или “Ekran”, где рассказывали о том, о чем у нас не было принято, потому что у них там были свои форточки. Мы мало что знали о реальном Западе, но вот эти “народные демократии”, в первую очередь, конечно, Польша и Чехословакия с их относительно прозрачными языками, были для нас в каком-то смысле предбанником мифической свободы, хотя сами они, конечно, так о себе не думали. В отличие от нас это были страны, где против коммунистов время от времени поднимали восстания, вооруженные или мирные, — в пору берлинского мы были слишком желтороты, и советская пресса успешно его игнорировала, но уже будапештское отпечаталось даже в моей детской памяти, а затем была “пражская весна” и польская “Солидарность”. Завидовать,

конечно, было до поры до времени нечему, но некоторые из нас все же завидовали. Эта иллюзия близости к свободе подкреплялась и одновременно перечеркивалась тем, что почти никто из нас не рассчитывал эти страны когда-либо увидеть: они считались слишком соблазнительными, а годы беспорочной службы и отрицательная проба по Вассерману (если кто помнит первоначального Вассермана) давали робкую надежду лишь на визит в Болгарию.

В каком-то смысле мы оказались правы — хотя слабинку дали в Москве, домино посыпались именно там: в Будапеште, Варшаве, Праге и, наконец, Бухаресте. И не только: именно там разрыв с авторитаризмом выглядел куда более радикальным, чем на территории бывшего СССР. С тех пор миновало четверть века, и пейзаж стал почти неузнаваемым.

В 1968 году британский историк Тони Джадт, в ту пору оксфордский аспирант, жил в Париже, где он собирал материалы для диссертации по истории левого движения во Франции. В Париже это был год студенческих бунтов, которые в памяти тогдашнего поколения остались как знаменные эпохи, хотя что именно было ознаменовано, сегодня сказать трудно. На тот же год пришлись танки Варшавского договора в Праге и студенческие демонстрации в Варшаве с последующим изгнанием из страны “сионистов” с куда большими историческими последствиями, хотя и отсроченными. Оба событийных узла были кризисом в истории тради-

ционного марксизма, к которому и Джадт был в молодости причастен, но странным образом обе стороны друг друга в то время не замечали — железный занавес был двусторонним.

Много лет спустя Джадт, смертельно больной, прикованный к инвалидному креслу и лишенный возможности самостоятельно работать, написал с помощью своего друга, йельского историка Тимоти Снайдера, свою последнюю книгу “Обдумывая двадцатый век”. В каком-то смысле это мемуары, автобиография потомка восточноевропейских евреев, переселившихся в Англию, но это также духовная биография столетия устами одного из лучших его летописцев.

Его собственное внимание к Центральной Европе было привлечено в результате знакомства с польскими эмигрантами в Париже и чешскими в Лондоне. Это привело к повороту и в профессиональной ориентации, предметом которой изначально был Запад. В обсуждении со Снайдером различий между Парижем и Варшавой и Прагой оба отмечают контраст: в то время как французские студенты, пусть и без особого плана, штурмовали устои либерализма, их собратья по ту сторону “занавеса” именно к либерализму прорывались сквозь последние марксистские миражи. Пока одни пытались понять, что им делать со своей бесплатной свободой, другие в путях несвободы старались поступать так, как будто уже были свободными.

Эта тактика “как если бы” имела две формы. Кое-где

можно было вести себя так, как будто режим был готов к переговорам, принимая всерьез лицемерие его законов и, как минимум, разоблачая наготу императора. В других местах, особенно в государствах вроде Чехословакии, где иллюзия политического компромисса была уничтожена, стратегия на уровне индивида заключалась в том, чтобы вести себя, как если бы ты был свободен, живя или пытаясь жить жизнью, основанной на внеполитических понятиях этики и добродетели.

В другом месте Джадт называет в числе своих культурных героев Альбера Камю, и это, конечно же, система поведения перед лицом несокрушимой несвободы, которую Камю разрабатывал в “Мифе о Сизифе” и которой придерживаются персонажи его романа “Чума”. В “Шпильках” и “Экране” про это, конечно, ничего не было, но, когда Александр Солженицын в начале 70-х писал статью, в которой призывал нас “жить не по лжи”, он, видимо неосознанно, пользовался уже неоднократно запатентованным приемом. В своих тогдашних советских котельных и сторожевых будках мы брали пример с чужого мужества — независимо от того, понимали мы это или нет.

Рассуждая о том, почему парижские бунтовщики не замечали тех, кто пробивал туннель им навстречу, Джадт отмечает исторический дефект зрения: Восточная Европа в глазах Запада все еще оставалась местом запустения, где вместе с развалившейся империей Габсбургов испарился

вчерашний очаг культуры с его достаточно универсальным немецким языком. Что касается Польши, то она вообще выпадала из обоймы — ее после войны воспринимали просто как бывший ареал расселения евреев и окрестность Освенцима, а ее собственная культура и роль в цивилизации была заперта в языке, который в Париже был куда менее понятен, чем в Киеве или даже в Москве. И если “пражская весна” все же обрела резонанс на Западе, Польша с ее бескомпромиссным подпольным сопротивлением оставалась незамеченной до эпохальной стачки в Гданьске. Для Джадта, преодолевшего языковые барьеры, и его единомышленников, для которых рассеялся последний туман марксизма, именно эта территория стала в те годы культурным магнитом.

Не было ничего удивительного в том, что именно эта часть бывшего соцлагеря почти без колебаний двинулась по пути европеизации и либерализации, что именно там у Маргарет Тэтчер, как бы к ней ни относиться, нашлись самые верные ученики в лице Вацлава Клауса и Лешека Бальцеровича. На Польшу, Чехию и Венгрию кивали как на примеры триумфа рыночной ассимиляции, Польша была одной из считанных стран в Европе, почти безболезненно пережившей финансовый кризис 2008 года. Глава ее последнего либерального правительства Дональд Туск стал первым центральноевропейским председателем Европейского совета. Некоторые любители вскры-

тия исторических закономерностей стали даже отмечать, что граница адаптации проходит по рубежу между западным и восточным христианством, приводя в качестве аргумента болгарско-румынский арьергард.

Но пока не упал занавес, пьеса не кончилась. Тони Джадт скончался в 2010-м, на два года раньше, чем его последняя книга вышла в свет. В любом случае тогдашние собеседники не могли знать, что ожидает в ближайшем будущем ту часть Европы, к которой на время было приковано их внимание. Первой выпала из обоймы Венгрия, чей премьер Виктор Орбан, некогда диссидент-антикоммунист, объявил, что намерен строить в ней “нелиберальную демократию”, что бы это ни значило. В Чехии сошло со сцены поколение соратников Гавела, и, хотя никаких резких разворотов пока не делалось, страна погрязла в рутине и коррупции, а президентский пост занял пьяный фигляр. Радикальнее всех переменялась Польша, на которую Евросоюз возлагал особые надежды: либеральное правительство было сметено консервативной реакцией, которую возглавляет закулисный конспиролог Лех Качиньский, и приступило к активному демонтажу демократических институтов и свободы СМИ. Показательно, что единственный голос в Европейском совете, поданный против переизбрания Туска, принадлежал польскому премьеру Беате Шидло.

Еще сравнительно недавно, хотя Джадт и Снайдер об

этом не вспоминают, речь шла о так называемой “новой Европе”, надежном союзнике США в противостоянии восточной угрозе и в противовес сенильной “старой”. Теперь всю эту диспозицию как ветром сдуло с карты, и даже США перестали быть надежным союзником кому бы то ни было. Свобода оказалась слишком серьезным испытанием, на этот раз не только для Парижа.

У истории нет законов, которые были бы нам понятны — Джадт в этой связи цитирует крылатую фразу Герцена о том, что у истории нет либретто. Но в ней очевидны метафоры и синтаксические повторы. Глядя на сегодняшний центральноевропейский пейзаж, трудно не вспомнить межвоенные годы, когда попытки либеральной эволюции были прерваны на той же территории. В противовес тогдашним диктатурам формально это еще демократии, но все чаще люди, пусть даже те, кто сейчас в меньшинстве, ощущают себя безголосыми. Либерализм — это когда у тебя нет проблем ни с голосом, ни со слышимостью. И мы помним, во что все это тогда вылилось.

Тут бы полагалась мораль, но у меня ее нет. Потому что если продолжить мысль, у истории нет не только законов, но и сюжетных рамок: для нас она никогда не кончается, а когда закончится, то нас уже не будет, и это неисправимый дефект композиции. Тони Джадт ушел из жизни, когда ситуация выглядела гораздо оптимистичнее, для него пьеса имела совершенно иной финал, чем, может быть, для нас.

А жизнь — единственный способ организации исторического материала, который нам известен. И с режиссером тут не договоришься.

Свои и чужие

Когда-то, давным-давно, в другой стране и в другую эпоху, я работал в переводческом бюро исследовательского института в одном советском городе. Это не был так называемый почтовый ящик, все было вполне на поверхности и открыто: мы, команда примерно в дюжину человек, переводили с разных языков тексты по электротехнике, а если порой и воровали патенты, то ведь время было такое — не мы одни.

Но поскольку мы знали разные иностранные языки, или, по крайней мере, делали вид, что знали, к нам проявляли интерес сотрудники местного филиала одного всесоюзного ведомства, и в какой-то момент тех из нас, кто не был слишком связан семьей и домашним хозяйством, то есть мужчин помоложе, стали приглашать в специальные кабинеты для участливого собеседования, соблазняя, как минимум, удвоением зарплаты и казенной жилплощадью. И все мы знали друг о друге, куда нас вызывают, что предлагают и чего желают взамен. Как минимум один из моих коллег это предложение принял и несколько этого от нас не скрывал — некоторые даже поздравляли. Что касается меня, то моя репутация в городе была уже безвозвратно испорче-

на, со мной беседовали явно не очень искренне, соблазнили вполсилы, скорее провоцировали, и моя дальнейшая траектория в сторону крамолы только утвердилась. Впоследствии эти свидания повторялись и были еще менее дружественными, а с моей стороны — менее добровольными.

К этой развилке в моей жизни я еще вернусь, а вспомнил я о ней в связи со статьей оксфордского историка Роберта Гилди на сайте Aeon¹ о сопротивлении и коллаборационизме во Франции в годы Второй мировой войны. В школе, помнится, нам скармливали версию о беспримерном героизме в рядах первого и нетерпимости в отношении второго — к Франции по ряду причин в красном знаменном советском сердце было куда больше симпатии, чем к каким-нибудь англосаксам, хотя в войну она состояла из непосредственно оккупированной зоны с центром в Париже и вассального по отношению к Германии ампутированного государства со столицей в Виши, а в числе победителей оказалась лишь благодаря упорству генерала Шарля де Голля. Характерно, что эта полумифическая точка зрения на собственную историю, с ее упором на негибимость галльского позвоночника, долгое

время доминировала в самой Франции, поощряемая тем же де Голлем, и лишь впоследствии более трезвый взгляд на вещи возобладал. Движение сопротивления сформировалось не сразу и было гораздо более узким, чем его себе представляли, а то, что называли коллаборационизмом, было иногда просто результатом дезориентации — заблудившимся вектором патриотизма.

Что побуждает в такой ситуации часть населения активно сопротивляться, тогда как другая, как правило большинство, склонна смириться — вот вопрос, который занимает Роберта Гилди. В случае Франции многое было обусловлено внезапностью перемен, позорным поражением в результате гитлеровского “блицкрига” и установлением диктатуры в Виши, которую возглавил бесспорный герой прошлой войны маршал Анри-Филипп Петен, с программой грядущего возрождения страны и совместной с рейхом победы над коммунистами, евреями — и теми же англосаксами, исконным врагом, к тому же оперативно уничтожившим военно-морской флот Франции, чтобы он не перешел на сторону нацистов. Люди, разделявшие эти взгляды, встали на сторону вишистского режима добровольно, хотя кое-кто впоследствии сменил ориентацию.

Что же касается активного сопротивления, то его как раз основали коммунисты после падения Германии на СССР — нечто вроде попытки открыть второй фронт.

1. https://aeon.co/essays/put-yourself-in-vichy-france-do-you-resist-or-collaborate?utm_source=Aeon+Newsletter&utm_campaign=1659a66fab?EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_26utm_medium=email&utm_term=0_411a82e59d?1659a66fab?68796409

Опросов общественного мнения в те времена, а особенно в тех условиях, не было, и в этом заключается существенная разница с нашими временами, когда чуть ли не каждого встречного мы автоматически зачисляем в тот или иной “процент”. Поэтому историкам приходится прибегать к косвенным подсчетам и оценкам. Все же, по мнению Гилди, во французском сопротивлении принимало участие около одного процента населения, а прямое сотрудничество с оккупантами объединяло около двух процентов — и те и другие придерживались довольно четко оформленных и диаметрально противоположных политических взглядов. Как показывает анализ демографического состава этих групп, в первой сильно преобладали коммунисты, бывшие военнопленные, евреи, а также участники гражданской войны в Испании на стороне республиканцев, после поражения нашедшие убежище в соседней Франции, причем значительную часть составляли иностранцы. Гилди, отмечая социальную маргинальность этих людей, приходит как бы к тавтологическому, но на самом деле многое проясняющему выводу: позицию нонконформизма занимали преимущественно те, кто уже проявил к нему склонность в других, менее напряженных, ситуациях.

Что же касается прямых коллаборантов и вишистских функционеров, они вряд ли рассматривали свое поведение как открытое пособничество врагу. Подавляющей мотивировкой здесь была нена-

висть к левым, по мнению этого контингента погубившим страну, и надежда на помощь Германии в победе над общими врагами и по-своему понимаемом возрождении Европы. Тем временем подавляющее большинство французов, не примыкавших ни к одному из этих идеологических полюсов, было занято простым выживанием в резко ухудшившихся условиях оккупации и войны. Жан-Поль Сартр, в ту пору далекий от всякой политической активности, спокойно предавался литературному творчеству и дискуссиям в парижских кафе, бок о бок с немецким интеллектуалом и нацистским офицером Эрнстом Юнгером, тогда как Альбер Камю, выходец из Алжира с несмыслимым статусом постороннего в этом интеллектуальном бомонде, редактировал подпольный орган сопротивления “Combat”.

Интерес самого Роберта Гилди к идеологическому расслоению общества в экстремальных социальных условиях возник, по его собственному признанию, из наблюдений за оксфордским академическим окружением тридцатипятилетней давности, в пору его молодости, — он пришел к выводу, что большинство из этих пожилых консервативных людей оказались бы в лагере коллаборантов. У меня, однако, есть собственный опыт жизни в таком обществе — в Советском Союзе на склоне его дней. Ситуация была далеко не такой беспощадной, как в оккупированной нацистами стране или даже в том же СССР, но тридцатью годами

раньше. И, тем не менее, риск выбора был реальным, нередко чреватых крахом всех жизненных упований, — именно в этой связи мне и вспомнился эпизод почти полувековой давности.

Коллега, о котором я упоминал вначале и который принял соблазнительное предложение, очень скоро исчез с нашего горизонта, и его выбор, насколько я помню, был воспринят большинством как обыкновенный жизненный поворот, в целом счастливый. Моя же роль в этой истории имела куда менее счастливое продолжение, хотя и независимо от меня. Юноша из моей внеслужебной компании, на которого мне намекнули в беседе и которого я даже попытался предупредить, подвергся приводу, на него было оказано сильное давление, в результате чего он выдал всех, кого мог (хотя выдавать, по правде, было нечего, кроме праздной болтовни), впал в депрессию и покончил с собой. Задушить насмерть, оказывается, вполне можно и в мягких рукавицах.

А вот другой эпизод, навсегда впечатанный в мою память. У меня был очень близкий школьный друг, один из тех, с кем было счастьем встречаться еще годы спустя, человек блестящего ума и незаурядных способностей, искренне разделявший все мои тогдашние интересы и в каком-то смысле незаменимый фактор всего моего личностного формирования. Через десятки лет он, уже совершенно разбитый и уничтоженный, признался мне в письме, что к нему в том

же ведомстве сумели подобрать рычаг и вынудили к доносительству — в том числе и на меня. Обо всем этом, к счастью, я узнал лишь по прошествии времени, живя в безопасности и не потерпев никакого видимого ущерба, и в отношении потерянного друга у меня нет никаких других чувств, кроме горького сожаления.

У меня были свои причины обладать статусом постороннего в этом обществе, в которые я вдаваться не буду. Но я вспоминаю обо всем этом еще и потому, что с пройденной дистанции хорошо видна шаткость и неосновательность наших тогдашних юношеских убеждений, включая мои собственные. Будь моя репутация чуть менее подмоченной, а мой собеседник в кабинете — чуть позадушевнее (в конце концов, его учили на жандарма, а не на психолога), еще неизвестно, в какую сторону развернула бы судьба.

У Роберта Гилди было то преимущество, что он жил в свободной стране и мог лишь строить догадки по поводу возможного поведения окружающих в поляризующих условиях. Но в результате моделирования такого поведения в более жестком режиме у него получилось нечто вроде притчи, в которой есть урок для нас всех. Большинство существующих сегодня социальных формаций имеют сходство с оккупацией в том смысле, что разделение на нас и на них вполне ощутимо — и даже там, где это сегодня неочевидно, завтра все может сложиться по-другому. Да, участникам со-

противления угрожала гибель. Но у тех, кто живет в условиях ползучей автохтонной оккупации, есть шанс остаться в живых, что, при некотором стечении обстоятельств, может оказаться страшнее. Перевербовка может быть результатом акта купли-продажи, шантажа или путаницы в голове, но тот, кто не теряет из виду собственной слабости, не вправе отрекаться от сострадания. И когда речь заходит о пресловутых 86 процентах, то есть о большинстве твоих сослуживцев и знакомых, полезно помнить, что на самом деле их всего 2 — хотя нас еще меньше. А если ты к тому же еврей или иностранец, считай, что тебе изначально дали фору.

Чужая страна

Одна из разновидностей стандартного сетевого юмора — выдержки из сочинений старшеклассников и студентов, в частности по истории. Что-нибудь вроде того, что “пражская весна” была мятежом в Чехословацком корпусе в 1918 году. На самом деле, это старинный жанр, преподаватели со стажем помнят списки перлов, ходившие по рукам еще до всякого интернета. Каждому поколению приходится ужасаться беспамятству молодежи, для которой вчерашний день неотличим от прошлого тысячелетия.

С точки зрения историка, как мне кажется, хуже всего — это забвение не столько деталей быта, сколько всего духа, этоса эпохи, которая без году неделя как миновала, слияние,

допустим, периода советской власти с какой-нибудь опричниной или пугачевщиной. Этот дух не восстановишь потом никакой археологией, отчего возникает опасность снова угодить в тот же капкан или, ближе к расхожему мему, наступить на те же грабли. Одной из характерных черт советского этоса была сосредоточенность на так называемом “светлом будущем”, выживавшая на всем протяжении существования режима: от первых красногвардейских отрядов до горбачевских реформ. Если вкратце, идея заключалась в том, что как бы плохо мы ни жили сейчас, мы снесем все трудности ради того, чтобы наши потомки жили лучше нас. Поначалу это была идеология революционной жертвенности, ближе к концу — просто внушенный автоматизм социального поведения. Комсомольцы и другие участники всевозможных мобилизаций закладывали в стены новостроек письма с приветом и завистью к этим воображаемым потомкам — одно из таких было недавно извлечено на свет в Первомайске Николаевской области в Украине, и читать его без горькой иронии сегодня невозможно. Даже заключенные в лагерях порой перенимали этот автоматизм, хотя тексты их посланий в будущее сильно отличались.

Экстремизм подобной морали, ее вопиющая нелепость, вроде бы очевидны: с какой стати, снимая с себя последнюю рубашку, отдавать воображаемый долг людям, у которых мы ничего не брали займы и

которым еще только предстоит появиться на свет? Философской платформы тут никакой нет: даже с учетом того, что корпус русской этической философии исчезающе мал, и, даже если слепо принять модель самопожертвования — разве не лучше жертвовать в пользу реальных людей, которые тебя окружают, и в чьем благе ты, по крайней мере, можешь удостовериться? Кажется, не подлежит сомнению, что моральные поступки — это такие, которые затрагивают судьбу конкретных лиц, даже если эти лица неизвестны потенциальному благотворителю, — и аморальные тоже. Спасатели противостоят стихийному бедствию, лесному пожару или наводнению, рискуя жизнью и не имея зачастую никакого представления о сотнях людей, чьи жизни и имущество они оберегают, но это, как правило, реальные люди и реальное имущество, тогда как в случае вышеупомянутых комсомольцев речь идет о тех, кому только предстоит родиться — или, как легко показать на примерах, не предстоит.

И однако, беспокойство о будущем, о тех, кого нет на свете, — общая черта нашего времени, пусть и не в таких экстремальных параметрах, в каких это практиковалось при советской власти. Там, где мораль не ограничивалась революционным самопожертвованием или комсомольской рутинной философией, пытались разобраться в проблеме, у которой даже есть теперь устойчивое название: проблема неидентичности, или парадокс будущего индивида. Вот при-

мер, взятый из книги одного из ведущих моральных философов современности Дерек Парфитта “Reasons and Persons” (“Причины и лица”).

Допустим, несовершеннолетняя девушка-подросток решила родить ребенка. Можно без труда предсказать, что судьба этого ребенка будет далека от оптимальной: мать не сумеет получить образование и профессию, ребенок не получит достаточной заботы и ухода, и его дальнейшая жизнь наверняка будет полна трудностей. Такая мать явно в долгу перед своим будущим ребенком. Она может изменить ситуацию, отложив роды на несколько лет, получив за это время образование и улучшив свое материальное положение. Загвоздка в том, что, как подсказывают наши познания в биологии, через несколько лет у нее, даже в том случае, если партнер будет тот же самый, родится совсем другой ребенок, продукт совершенно иных половых клеток — говорить здесь об идентичности так же нелепо, как считать брата и сестру одним и тем же человеком. Вина перед первым никак не компенсируется заслугами перед вторым. Более того, если жизнь первого ребенка, каковы бы ни были сопутствующие ей отрицательные обстоятельства, в целом будет стоить того, чтобы ее прожить, отказ от его зачатия и рождения будет для него невосполнимым ущербом. Комсомольцы со своими посланиями в будущее вряд ли вникали в такие тонкости.

Очевиднее всего этот долг несуществующим кредиторам,

людям, которые никогда не обретут для нас конкретное обличье, проступает в проблеме будущих поколений — например, когда речь идет о бесконтрольной трате природных ресурсов, которых потомкам уже не восполнить, или об игнорировании глобального изменения климата. В этих случаях возникает конфликт между двумя типами моральных обязательств: в отношении ныне живущих и тех, кто придет им на смену. Первые, более для нас привычные, требуют от нас, чтобы мы не заставляли наших современников идти на жертвы, неизбежно понижающие их благосостояние и делающие их жизнь менее комфортабельной. Мы не хотим отказать себе в лишнем походе в театр или абонементе гимнастического зала, в то время как на наших глазах тысячи беженцев тонут в Средиземном море, спасаясь от войн, голода и деспотизма и претендуя на свою долю ограниченных ресурсов. Вторые требуют лишения ради людей, о чьей идентичности мы не имеем понятия, чьи страдания нам не показывают по телевизору, но чья жизнь резко ухудшится, если мы оставим им слишком скудное наследство. И к тому же легко показать, что в этом случае, в зависимости от того, как мы себя поведем, речь идет о совершенно разных популяциях — наши сегодняшние действия меняют композицию будущего.

Парфитт и некоторые другие философы считают, что оба типа обязательств в принципе должны иметь одинаковый моральный вес, другие

этот тезис оспаривают. А как относимся к этой проблеме мы сами, не обремененные чрезмерной философией обычные люди, у которых, в отличие от вышеупомянутых комсомольцев, реальный выбор все-таки есть? Читателям на сайте Aeon предложили опрос на сходную тему, объяснив при этом, что в случае истощения ресурсов и их экономии речь идет о разных будущих популяциях. Тем не менее, как пишет Доминик Уилкинсон, большинство респондентов выразило согласие с тем, что стратегия экономии предпочтительнее, хотя сама проблема неидентичности, судя по всему, почти не повлияла на эти ответы. Иными словами, мы предпочитаем поступать нравственно не только в отношении тех, кто нам близок или даже совершенно нам неизвестен, хотя и существует, но и в отношении тех, кому еще, может быть, предстоит родиться, когда нас не будет. Но мысль о том, что будущее будет населено совершенно другими людьми, никак не теми, за кого мы их принимаем, для нас неинтуитивна.

В этой связи мне невольно вспоминается книга философа Сэмюэля Шефлера из Нью-Йоркского университета “Смерть и загробная жизнь”, которую я в свое время рецензировал. Вопреки интригующему названию речь в ней идет не о жизни после смерти, а о гипотетическом сценарии, согласно которому в скором времени после нашей естественной смерти вся планета погибнет вместе со всеми, кто ее населяет. Казалось бы, нам долж-

но быть все равно, поскольку все это случится без нас, но автор пытается показать, что для нас крайне важно, чтобы жизнь продолжалась и после того, как нас не станет, и что такая перспектива может оказаться страшнее собственной кончины: “возникновение в будущем людей, которых мы [не можем] знать и любить, для нас важнее, чем наше собственное выживание и выживание людей, которых мы знаем и любим”. Этот неожиданный вывод обусловлен тем, что такой апокалипсис обернется исчезновением всех человеческих ценностей и смыслов, пусть даже самых мелких, опустошая все уже прожитые жизни. Речь здесь идет все о той же проблеме неидентичности, хотя сам термин не упоминается, и границы эгоизма в действительности гораздо уже, чем может показаться самому отпетому эгоисту.

Советская власть, если все же к ней на минуту вернуться, в конечном счете паразитировала на естественных для человека моральных инстинктах, искажая их до неузнаваемости и превращая в картонную имитацию нравственности. В пресловутом письме в будущее передовиков производства Первомайска нет ни одного живого слова, оно целиком состоит из казенных фраз, которых многие представители нынешней украинской молодежи уже, к счастью, не понимают, а зачастую даже не знают, кто такие были эти комсомольцы, согнанные на субботник в 1967 году. Фактически, это письмо сегодня надо переводить — или, по край-

ней мере, читать с историческим справочником в руке. Я уже не говорю о том, что авторы не догадались включить самое простое и первое, что пришло бы в голову нормальному человеку: пожелание счастья своим потомкам. Характерно, что послание было извлечено во время фестиваля брейкданса, участники которого в основном говорили уже на другом языке, украинском, и письмо, которое они замуровали в стену на следующие 50 лет, было тоже написано на нем.

Невозможно отмахнуться от мысли, что ситуация вполне не симметрична: даже искренне беспокоясь о будущем, мы понятия не имеем, кем оно будет населено, но у нас также нет реальной памяти о тех, кто нам предшествовал, история мгновенно занавешивает от нас свои тайны, и пенять на забывчивость молодежи тут бесполезно. Этот вывод не радует, но от него не увернешься. Можно только вспомнить слова английского писателя Л. П. Хартли: “Прошлое — чужая страна, они там ведут себя по-другому”.

Обличители вреда

Примерно раз в поколение — раньше реже, а теперь даже и чаще — являются пророки, предупреждающие нас, что цивилизации наступает конец. Я имею в виду не тех, которые обещают огонь и серу, а критиков технологии. Одним из первых был, видимо, греческий философ Сократ — от него не осталось письменных трудов, и

вовсе не потому, что он не умел писать. Сократ считал письменность вредным изобретением, которое лишит людей способности запоминать — зачем полагаться на память, если можно записать? С тех пор прошло достаточно времени, чтобы вынести осторожный вердикт: действительно память порой подводит, но в целом письменность себя оправдала.

Это мнение Сократа я приводил уже не раз, оно особенно симптоматично в связи с последующей эволюцией информационных технологий — хотя конец света предсказывали не только по их поводу, новшества в этой области, как правило, воспринимались частью аудитории особенно остро и болезненно. Предлогами были изобретение книгопечатания, многотиражных газет, телефона, интернета и т. д. Совсем недавно мы стали свидетелями широкого распространения платформ для электронного чтения во главе с Kindle'ом и электронных книг к ним — тут уже отбросили всякую осторожность и предрекали гибель литературы, грамотности и чуть ли не алфавита. Между тем за какие-нибудь десять лет от былой паники не осталось и следа: бумажные книги никуда не девались, электронные заполучили свою часть рынка, и равновесие с тех пор вполне стабильно.

Последним в этой нескончаемой серии вострубивших ангелов стал ангел смартфонов и социальных сетей. На эту тему создана уже целая эсхатологическая библиотека, пополняемая чуть ли не ежедневно. В числе последних

контрибуций — статья социолога Джин Гуэндж¹, опубликованная в журнале “Atlantic”, выжимка из ее готовящейся к печати книги на эту тему.

Писать на самом деле есть о чем, и человек, у которого развитие событий не вызывает хотя бы некоторой тревоги, как минимум не очень внимателен. В метро практически каждый прикован к смартфону, от подростков до старушек: люди слушают музыку, смотрят фильмы, играют в “Candy Crush” или какой-нибудь клон этой забавы, а наиболее активные без усталости снимают селфи. Впечатление такое, что каждый накрыт персональным водолазным колоколом. Метро, впрочем, тем и характерно, что надо как-то скоротать нудное время, но ведь и на поверхности они не ведут себя иначе: пешеходная навигация крайне затруднена, а на переходах под ногами появились надписи “смотри”, имеющие целью заставить невнимательных оторвать глаза от экрана.

Гуэндж, конечно, интересуется не столько внешние атрибуты поведения, сколько внутренние психологические изменения, а они, на ее взгляд, неутешительны. Не она первая замечает, что расширение электронной сферы контактов приводит, похоже, к сужению личной: подростки, даже когда собираются в группы, плохо следят за общей темой разговора, не в силах оторваться от

1. <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/09/has-the-smartphone-destroyed-a-generation/534198/>

подсчета лайков в Facebook'е и Instagram'е. Кроме того, повышенная активность в социальных сетях приводит к понижению такой активности в реальной жизни, к изоляции и депрессии. Это не просто праздные наблюдения — в подтверждение своих печальных выводов автор приводит целую серию диаграмм. К отрицательным последствиям виртуальной активности она относит рост статистики самоубийств среди подростков примерно с 2011 года, отсутствие желания получать водительские права по достижении законного возраста, а также падение интереса к сексуальным контактам — парадоксальным образом это, предположительно, привело к снижению показателей беременности среди несовершеннолетних, но общая тенденция вряд ли благотворна.

Туэндрж понимает, что статистическая корреляция нередко свидетельствует о простом совпадении, а не о причинно-следственной зависимости, и пытается привести доводы в пользу такой зависимости, но это лишь капля в море собранных в кучу фактов. А если и есть положительные аспекты в нынешней популярности смартфонов и социальных сетей, она не упоминает ни об одном и вообще оставляет этот вопрос в стороне — что не может не вызывать недоверия к ее наблюдениям и прогнозам. Но самый главный дефект ее рассуждений — полное забвение совсем, казалось бы, недавних споров по сходным поводам. Либо у такого рода прогнозов отшибает память,

либо они не видят дальше своего носа, и это обстоятельство приходится выносить в значительную часть их аргументов. И к тому же все сводится к заламыванию рук, никакого выхода из экзистенциального штопора нам не предлагают.

Тут я бы напомнил о забытой панике примерно пятнадцатилетней давности, когда в связи с массовым распространением доступа к сети ввели чуть ли не новый психиатрический диагноз, патологическое пристрастие к интернету, и СМИ, в том числе и сам интернет, запестрели объявлениями специалистов, предлагающих профессиональную помощь таким жертвам, детоксификацию. С тех пор интернет стал намного объемнее и доступнее, большинство из нас уделяет ему гораздо больше времени, но о диагнозе сегодня не услышишь ни слова, а специалисты куда-то исчезли — хотя почему бы не предложить свои услуги нынешним пленникам Instagram'а? И почему критики социальных сетей не видят в этом для себя урока?

Существует эмпирическое правило, получившее название эффективности или оптимальности по Парето в честь сформулировавшего его итальянского экономиста. Согласно Парето, оптимальной системой является такая, в которой нельзя улучшить какой-либо параметр без ухудшения других. Внесение нового параметра в такую систему нарушает это равновесие, но в условиях относительной свободы (например свободы рынка, если речь об экономике) оно восстанавливается на другом уров-

не. Когда был изобретен автомобиль, пользу от него получали единицы, которые могли позволить себе такую роскошь, а вот пешеходы, не привыкшие к таким стремительным экипажам, увечились и гибли несоразмерно. В скором времени было достигнуто равновесие — без автомобиля наш мир сегодня просто обрушится, представьте себе на минуту хотя бы исчезновение скорой помощи. Но увы, люди по-прежнему погибают под колесами и в автокатастрофах — эффективность по Парето не означает, что выигрывают все.

Противопоставить этой эмпирике борцы со смартфонами ничего не могут. Более того, невозможно себе вообразить, как выглядел бы идеальный, с их точки зрения, мир и какая инстанция должна вмешаться для приведения мира к этому идеалу — кроме правительства, тут никакой другой не придумаешь. Но если следовать этой логике, правительства должны были бы резко ограничить доступ к интернету, а еще раньше — к печатной продукции, хотя бы на том основании, что мутный вал бульварной прессы и литературы отвлекает нас от изучения геометрии и постижения духовных скреп. Такие заботливые правительства действительно существуют: Китай и Россия — всего лишь два наиболее ярких примера. Даже самое благонамеренное правительство состоит из таких же людей, как мы, и они не в состоянии заглянуть в будущее дальше нашего и предугадать непредвиденные последствия наложенных санкций.

Тут нельзя не отметить, что сеятели страха уже оккупировали будущее и мобилизуют нас на борьбу с новшествами, которых еще нет и в помине. Нас предостерегают от излишнего дружелюбия в отношении пришельцев из космоса, которые могут таить коварные планы, от роботов, которые отнимут у нас последние рабочие места, а пуще всего — от искусственного интеллекта, который возникнет, по последним прогнозам, уже лет через двадцать и приступит к уничтожению органической жизни на земле. В этой связи известный инвестор и экономический обозреватель Ручир Шарма напоминает, что появление искусственного интеллекта предсказывали уже в 1950 году, причем и тогда — через те же 20 лет. На самом деле, эта эсхатология только отвлекает нас от более насущных проблем, которые в состоянии успешно воспрепятствовать как возникновению искусственного интеллекта, так и нашему выживанию — отошло по этому поводу к недавнему спору Марка Цукерберга с Илоном Маском.

Вредны ли на самом деле смартфоны и социальные сети и насколько велик этот вред? Даже если психологические наблюдения Джин Туэндж — большей частью простые корреляции, обилие таких корреляций не может не вызывать тревоги, а уж тем более внешние признаки кризиса, — вот эти водолазные колокола, которые люди не снимают ни в метро, ни на поверхности. И однако тот факт, что она не в состоянии дать нам

ни одного разумного совета по решению проблемы, а особенно то, что она замалчивает все позитивные аспекты технологической революции, свидетельствует о так называемом “туннельном видении”, намеренном сужении угла зрения с целью сделать свой тезис более убедительным. Самоизоляция в публичном пространстве — обычный атрибут мегаполиса, и смартфон тут — всего лишь один из подsunутых услужливым прогрессом способов. Книга или даже Kindle в чьих-то глазах будут выглядеть благороднее, чем “Candy Crush”, но это — суд, который мы не вправе никому навязы-

вать. Сорок лет назад публичное пространство было наводнено огромными переносными стереоящиками, извергающими рев и грохот — казалось бы, куда более серьезный повод для полицейского и психиатрического вмешательства. Но ящики канули в небытие — сегодня это антиквариат. Нет никакого сомнения, что проблема, по поводу которой бьет в набат Джин Туэндж, завтра рассосется, и Парето установит для нас новое равновесие. Но на смену сегодняшней проблеме наверняка придет следующая, и профессиональные распространители паники без работы не останутся.